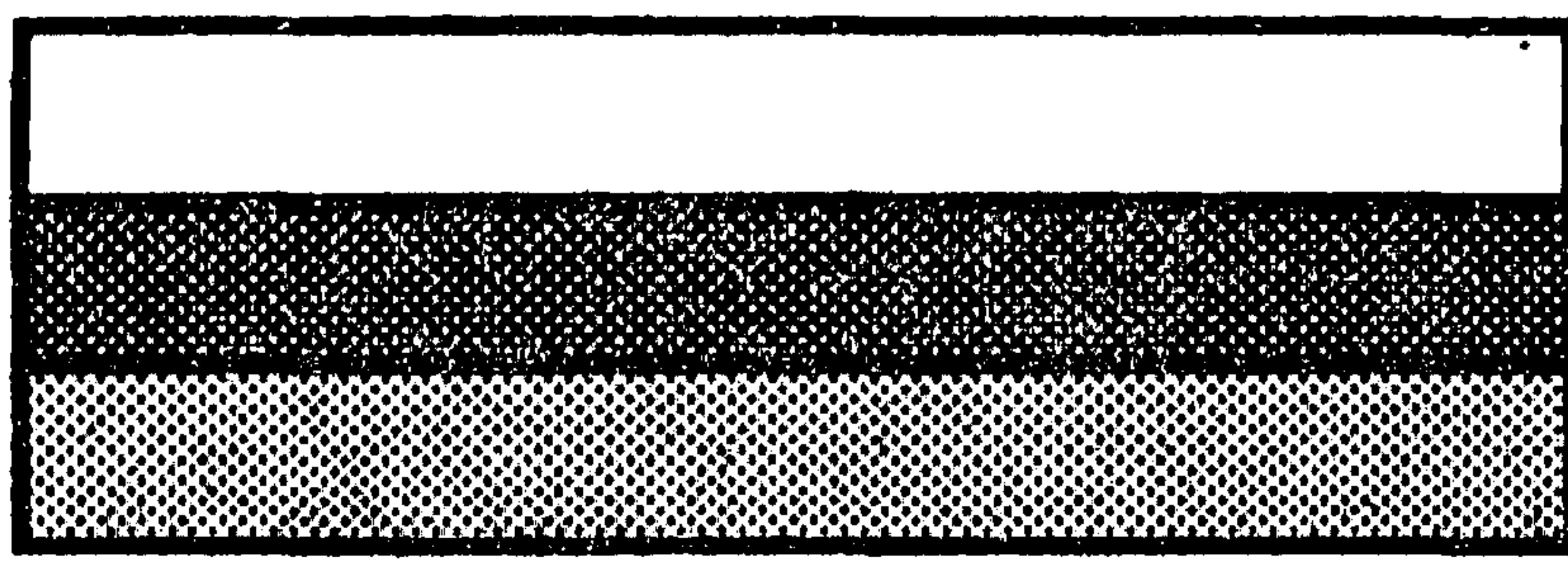


КОНТИНЕНТ

*Литературный, публицистический
и религиозный журнал*



Выходит 4 раза в год

МОСКВА • ПАРИЖ

81

«КОЕ-ЧТО ИЗ ЖИЗНИ...»

Неопубликованное

В сентябре этого года исполнилось уже семь лет, как не стало Виктора Платоновича Некрасова — выдающегося русского писателя, автора знаменитой повести «В окопах Сталинграда», открывшей новую страницу в истории русской военной прозы. Последние годы своей жизни Виктор Некрасов вынужден был, как и многие другие крупные наши писатели, провести за границей, в Париже, где он несколько лет был заместителем главного редактора «Континента». В оставшемся после него архиве хранится целый ряд не опубликованных до сих пор текстов, часть которых, с любезного разрешения наследников писателя, мы предлагаем вниманию читателей «Континента», объединив их общим условным названием — строкой из публикуемой ниже начатой, но не законченной В. Некрасовым книги воспоминаний и эссе под общим названием «Лежа на диване». Завершают нашу подборку тексты нескольких выступлений писателя на радио «Свобода», по которому голос его часто звучал. Публикация Виктора Кондырева и Григория Анисимова.

ЛЕЖА НА ДИВАНЕ

День семнадцатого июня знаменателен во многих отношениях. Именно в этот день в 1239 году родился английский король Эдуард I, в 1818 г. Шарль Гуно, автор оперы «Фауст», в 1882 г. — Игорь Стравинский, в 1888 г. — Гейнц Гудериан, прославленный автор танковых прорывов, в 1900 г. — ближайший соратник Гитлера Мартин Борман. В этот же день в 1953 году в Берлине вспыхнуло восстание, достаточно решительно подавленное советскими войсками. А за тридцать лет до этого, 17 июня 1940 г., советские войска, «с согласия латвийского правительства», как сказано в БСЭ, вступили на территорию Латвии.

Столь осведомлен я в истории этой даты не только потому, что существует немецкое издательство «Дас персонлише Гебурдстагбух», выпускающее книги, посвященные каждому дню года, и не потому, что сам возлагал цветы

на памятник жертвам 17 июня в Западном Берлине. Нет, кроме всего этого, именно в этот день в стольном граде Киеве в 1911 году впервые закричал, появившись на свет, человек, который семьдесят пять лет спустя, день в день, сегодня, семнадцатого июня 1986 года, принялся за то литературное произведение, которое ты, читатель, держишь сейчас в руках.

Вся эта ситуация, на первый взгляд искусственная и надуманная, сложилась в силу очень удачно сложившихся обстоятельств.

Во-первых, Париж, лучший в мире город, не располагает (не знаю, как там было у Бальзака, Хемингуэя и Эренбурга) к тому виду творчества, который требует тишины, покоя, отсутствия телефона и позволяет, вздев на лоб очки, смотреть на уступы черепичных крыш, старый маяк и тающий в мареве морской горизонт. Все это есть здесь, на берегу Средиземного моря, в Русьон-Лангедоке, у самой испанской границы, в малюсеньком городке Колюр, о котором будет еще впереди.

Это первое. Второе — как раз во второй половине июня свободна та самая уютная, двухкомнатная со всеми удобствами квартира, которую уступает мне на две недели хозяйка ее, живущая в Париже, но не любящая жаркого южного солнца. А я люблю.

И, наконец, третье, таящееся в самой цифре семьдесят пять. Друзья и родичи считают, что эту круглую дату надо обязательно отмечать. Я же, вспоминая нечто подобное, происходившее пять лет тому назад, считаю, что не надо. Из-за обилия желающих (понятие чисто условное, в основном — неловко не пойти, неудобно не пригласить, сочетающееся к тому же с несовместимостью одних особей с другими), мероприятие это растянулось на два дня и оба эти дня пронизаны были одним стремлением — чтоб юбиляр, упаси Бог, не выпил лишнего, а еще лучше, вообще не пил. Цель, конечно, благородная, но недостижимая. Юбиляр то и дело выбегал из-за стола, то ли за сигаретами, то ли «я вам сейчас прочитаю», а оставшиеся пользовались этой паузой, суетливо вытаскивали из-за дивана припрятанные на этот случай (а случая этого все ждали) поллитровки... В быстроте и ловкости всего происходящего было, безусловно, нечто спортивное и артистичное, но я

спорта не люблю, а с актерством давно покончил, поэтому игры эти удовольствия мне не доставляют.

Короче, на этот раз я сбежал со своего юбилея, события, которое одна моя очень интеллигентная приятельница окрестила тем же самым словом, только заменив в нем первую букву на «ё». Правильно заменила...

На этом несколько затянувшееся, как обычно, предисловие заканчиваю и перехожу к тому, для чего, собственно говоря, сюда и приехал.

1

...Я родился в Москве в 1863 году — на рубеже двух эпох. Я еще помню остатки крепостного права, сальные свечи, карселевые лампы, тарантасы, дормезы, эстафеты, кремневые ружья, маленькие пушки наподобие игрушечных. На моих глазах возникли в России железные дороги, пароходы, автомобили, аэропланы, дрендоуты, подводные лодки, телефоны, двенадцатидюймовые орудия. Таким образом, от сальной свечи — к электрическому прожектору, от тарантаса — к аэроплану, от парусной — к подводной лодке, от кремневого ружья — к пушке Берте и от крепостного права — к большевизму и коммунизму. Поистине разнообразная жизнь, не раз изменявшаяся в своих устоях...

Нет, это не моя эпоха. И это не я. Это Константин Сергеевич Станиславский и его эпоха. Прочитанное вами — это первый абзац его книги «Моя жизнь в искусстве».

Я же появился на свет и жил в другую эпоху. Нынешнему поколению она покажется такой же далекой и почти неправдоподобной, как мне эпоха Станиславского.

Вырос я под звуки канонады поочередно занимавших город то красных, то белых, то петлюровцев, то немцев или поляков. Рос я под звуки паровозных гудков и трамвайного перезвона.

«Паровозные гудки в воздухе разносятся...»

О, эти гудки! По ним, таким мелодичным, таким разным, завлекающим, прерывающимся мы, мальчики, жившие по летам на даче под Киевом, в Ворзеле, узнавали своих любимцев. Острогрудые, короткотрубые, прямо с картинки из «Детской энциклопедии», СВ и СУ стремительно (шестьдесят километров в час!), без остановки проносились

мимо нашего маленького деревянного вокзальчика. Это скорые и ускоренные поезда. А Н^В и Н^У, с трубами подлиннее — дачные, останавливались у нашей платформы на одну минуту, которую так боялись бабушки — Господи, как мы успеем все вещи вынести.

В те далекие, незабываемые годы гудков и паровозного дыма, стелящегося над лесами и рощами, когда в трех передних фонарях не только товарных «Щук» и «Овечек», но и наших любимцев коптели еще керосиновые лампы, когда стрелки переводились вручную, а вместо светофоров приветливо подымали свою полосатую руку стройные семафоры, пределом нашей мечты было стать машинистом.

Замусоленный, с черными ноздрями, высунувшись в окошко, он спокойно и уверенно смотрел вперед на несущиеся на него сияющие рельсы. Боже, что бы ни дали мы, чтоб оказаться рядом с ним, хоть на пять, десять минут, на перегоне Буча — Ворзель... Мечту эту я осуществил только через полстолетия в далеком американском штате Вермонт — там к услугам выживших из ума стариков предоставлен такой дымящий еще, гудящий, стучащий по стыкам раритет. Я был счастлив.

В те далекие, те счастливые времена были и трамваи, загнанные теперь на окраины, были и извозчики. Одна из стоянок их находилась недалеко от нашего дома, на углу Б.Васильковской и Марино-Благовещенской. Зимой в крохотные санки с медвежьей, да-да, медвежьей полостью с трудом влезало двое. Нам, вернее, моим родителям, этот вид транспорта был не по карману, и пользовались им только для поездки на вокзал. Чемоданы и прочие узлы держались просто на коленях, а один, самый большой, у извозчика под ногами. И лошадка — но, сивка! — неторопливо цокала по булыжной мостовой, роняя из-под хвоста то, запах чего, уносящий в детство, давно уже позабыт...

Были в Киеве, разумеется, и автомобили. Знали мы их наперечет. Всего двести сорок семь. Кому они принадлежали, неведомо. Известно было только, что сногшибательный «Линкольн», одиноко стоявший у входа в гостиницу «Континенталь», принадлежал «Интуристу». В нем возили знатных гостей и однажды даже самого Эррио — был в тридцатые годы такой заигрывавший с нами французский премьер-министр. Все дворники Николаевской улицы, где находился «Континенталь», щеголяли по этому

случаю в белых передниках, а деревья обсыпаны были свежим песочком.

Помню я, как и Станиславский, аэропланы, которые тогда еще не назывались самолетами. По сравнению с ними наш родной «Кукурузник» выглядел «Летающей крепостью». Не утверждаю, что помню, но родители уверяли потом, что видел я даже немецкий цеппелин в парижском ночном небе — было мне тогда три года.

Такую необходимую деталь, без которой теперь кажется и часа не проживешь, как телефон, я познал фактически после войны. В довоенные годы обслуживаемые «барышнями», они, кроме учреждений, возможно, были еще у зубных врачей. Прекрасное время! Вместо междугороднего, влетающего в копеечку телефонного трепа — «Как здоровье? Как погода?» — существовали письма и открытки за три копейки.

Первый радиоприемник — детекторный, с кристалликом — показал мне знакомый преподаватель Политехнического института, и все школьные товарищи мне завидовали.

Мы рано начали увлекаться фотографией. Снимали на стеклянные пластинки гармошечными, громоздкими «Фойхтлендерами». Потом священнодействовали в ванной, не позволяя никому туда входить.

С завистью смотрю я на нынешних туристов. В толстенных ботинках с крючками и с возвышающимися над их головами рюкзаками на каких-то металлических рамах, они щелкают направо и налево своими крохотными «Минольтами» на цветную пленку «Кодак», которую через час им проявят и отпечатают. Счастливцы! А мы, отправляясь в дальние походы в Сванетию или на Эльбрус в резиновых тапочках, которые назывались тогда «балетками», брали с собой две коробки по двенадцать пластинок фабрики ВУФКУ и перезаряжали их ночью в какой-нибудь пещере на Ингурской тропе наощупь, копошась в снятых для этой операции портках. Двадцать четыре снимка за все путешествие — предел...

И не знали мы в те годы никаких джинсов, ходили в защитного цвета военного образца юнг-штурмовках, девочки и во сне не видели губной помады, за серьги могли исключить из школы — и все же мы были счастливы. Я не боюсь этого утверждения, хотя знаю, что многие осудят

меня за это — не всем было тогда до фотографии, и миллионы таких, как мы, путешествовали не по Военно-Осетинским дорогам, а тряслись в «телятниках» чуть подалее, на восток...

И все же мы были счастливы. Молодостью. Она на многое закрывает глаза. В годы, когда должны крепнуть детские кости, мы питались пшенной кашей и воблой (даже теперь, в пивной, я ничуть не завидую тому счастливцу, который обсасывает каждую косточку в своем углу над бочкой), родители часами стояли в очереди в ломбард, закладывали облигации, и с утра до вечера накачивали и прочищали иголкой вонючие примусы. Наша дородная домработница Ганя, отнюдь не боготворившая советскую власть — было это, правда, уже после войны — говорила: «За однэ я ий благодарна — газ придумала...»

Короче — жизнь была унылая и безнадежная, не то, что у фабриканта электрических лампочек Константина Сергеевича Алексеева. И все же с той, его, вожделенного девятнадцатого века жизнью меня сближали мои «старушки» — мама, тетя, бабушка. Они были «бывшими», «старорежимными», как назывались тогда обладатели пенсне, муфт и брошек-камей. В их домах сохранились еще толстенные, на металлических пряжках альбомы с фотографиями господ в крахмальных воротничках и дам в кринолинах. В застекленных книжных шкафах орехового дерева кроме обязательных Пушкина, Лермонтова и Писарева красовались еще и Надсон, и «Чтец-декламатор» с «Сакья-муни, ты не прав...» и «...так солгать могла лишь мать». А на отдельной полочке в красном с золотом переплетах теснилась французская «Библиотека роз» с трогательно-слезными романами графини де Сегюр, в девичестве Растопчиной. На стенах висели...

Вот о стенах отдельный разговор.

Мой, наш кумир юности великий Ле Корбюзье, основой всего провозглашавший функцию, считал стенку элементом, отделяющим одно пространство от другого. Элементом тепло- и звукоизолирующим. Для людей девятнадцатого века у стен была еще одна функция — они служили неким фоном для картин и фотографий. Посмотрите на комнаты, в которых жили Лев Толстой, Чехов. Стены их сплошь увешаны репродукциями, дагерротипами дядюшек и тетушек, фотографиями сидящих за столами друзей и знако-

мых, каких-то веранд с дамами в кружевных белых платьях и молодыми людьми в соломенных канотье. Никаких оригиналов. Над письменным столом Достоевского висела большая фоторепродукция «Сикстинской мадонны», а у Чехова в Ялте один только пейзажик Левитана — со стогами сена. На камине.

И я следую их примеру. На стенах моей парижской квартиры свободного места нет. Вешать больше некуда. Так было в Киеве.

2

Считается, что я больше всего люблю путешествовать. Не спорю — люблю. И все же... И все же из всех положений человеческого тела предпочитаю горизонтальное. Я мог бы найти достаточное количество оправданий этому стремлению — мол, достаточно находился за всю жизнь — всякие там Крымы и Кавказы в юности, позднее командиром взвода запасного батальона пешечком от Ростова до Волги, а затем, через год, драпая во все лопатки из-под Харькова до той же Волги. Убедительно? Как будто. На самом же деле еще в детстве меня порицали — «Ну, что ты все валяешься, уткнувшись в своего «Капитана Гаттераса», пошел бы в крокет поиграл». В сохранившемся дневнике моей весьма требовательной к себе и другим тети Сони есть упоминание о ее ленивом племяннике, который дрыхнет до двенадцати дня, вместо того, чтобы... Дальше шло достаточное количество разумных предложений.

Одним словом, я люблю лежать на диване. Больше всего. Лежать, перечитывать Чехова, дремать под звуки Вивальди и Альбини, думать. И где-то в перерыве между этими занятиями бродить взглядом по своим стенам. А на них не только картинки и фотографии, кусочки твоей жизни, но и полочки со всякими, как у нас в Киеве принято говорить, «штучками-мучками». У каждой своя история. Эту фарфоровую, например, чернильницу в виде юного всадника в шляпе с пером, вертел в своих руках Ленин. Разве не интересно?

Вот давайте и побродим неторопливым взглядом по моим стенам — кое-что из жизни человека, родившегося еще во времена царствования злодейски убиенного Государя-им-

ператора Николая Александровича и пережившего после этого еще шесть русских царей, вы узнаете.

Здесь придирчивый читатель может меня перебить. А достойное ли это занятие — бездельничать, валяясь на диване, когда мир трещит по всем швам, а дома, если и живется не так страшно, как в годы Лидии Тимошук и убийц в белых халатах, но рот все равно затыкают, а чернобыльские соловьи умирают, едва долетев до Финляндии? Не неловко ли тебе предаваться воспоминаниям на парижском мягком диване, когда на ложе несколько менее мягком пишут стихи твои киевляне Ратушинская и Микола Руденко?

Не буду ссылаться на авторитет Карла Маркса — для меня он самонадеянный путаник, отравивший умы, — но никто не подверг его остракизму за то, что он занят был писанием своего «Манифеста» или «Капитала» вместо того, чтоб сражаться на баррикадах 1848 года. Более того — должен признаться — меня тоже никто не осуждал, хотя все знали, что полковой инженер 1047-го полка не прочь повалиться часок-другой, листая старую «Ниву» в своей теплой землянке, сказав связному: «Будут спрашивать, скажи — на передовой». Кстати, на передовой, случалось, тоже бывал.

Но не будем оправдываться — просто посвящу я вас в маленькую литературную тайну. Есть в нашей профессии понятие, именуемое «прием»... Дилижанс остановился на ночевку в глухой гостинице-таверне. Ночью нападают злые разбойники. Невыспавшиеся пассажиры занимают круговую оборону. И чтоб не заснуть, пока разбойники что-то там придумают, — устроившись у камина, рассказывают друг другу разные истории... А милый сердцу Сергей Довлатов назвал свою последнюю книжку «Чемодан» и весело рассказал об офицерском ремне, носках и паре ботинок, которые в этом чемодане бултыхались. И что-то вспомнил. А мог бы в Никарагуа отправиться, боротья с сандинистами — Хемингуэй на его месте, возможно, так бы и поступил.

Теперь, надеюсь, ясно?

Тогда ляжем поудобнее на диван, закурим, придвинем пепельницу и — в путь. Начнем с кабинета. Со стенки, которая направо от окна.

Рассказ в стиле социалистического реализма

Два затылка, один коротко стриженный, другой лохматый. Лиц не видно. Совершенно ясно, что оба в доску пьяны. И счастливы. Подобная фотография вряд ли появилась бы в советской газете, но если б в силу каких-нибудь обстоятельств (редактор в отъезде, дежурный запил, а «свежая голова» в пику ему) она все же появилась, то сопроводовала бы ей подпись: «Встреча фронтовых друзей».

Так оно и было. Через двадцать семь лет после мужественных объятий в медсанбате под Люблиным бывший замкомбата по строевой части 99-го Отдельного саперного батальона 79-й Гвардейской стрелковой дивизии встретился на станции Бурла Алтайского края со своим бывшим связным и напился.

Одним из них, старшим по возрасту и званию, был я, другим — Михаил Иванович Волегов, в просторечии Валега.

О нем я писал и вспоминал неоднократно. Восемнадцатилетним мальчишкой отрубил он весь Сталинград, освобождал Украину и Польшу, там был ранен, повалявшись в госпиталях, демобилизовался, вернулся в родные края, стал плотником, женился, нарожал детей. На фронтовом языке все это называлось «повезло».

О дальнейшем, чтоб не повторяться, скажу пунктирно. После войны обнаружил не я Валегу, а он меня. Книжки «В окопах Сталинграда», где он один из героев, ни он, ни его дети не читали, но инициативу проявили именно они. «Разыскал бы ты, наконец, того капитана, о котором столько талдычишь. Может и живой?» И разыскал. Через милицию, век ей буду благодарен. Завязалась переписка. Обмен карточками. Послана была книга. Потом произошел конфуз. Валега приезжал с женой в Киев, но я оказался не в форме (злоупотребил от волнения на вокзале в ожидании поезда) и жена, разгневавшись — «Хорош писатель, элементарный алкаш!» — уволокла бедного моего связного к каким-то родственникам в Белую Церковь. Со временем я был реабилитирован, что дало мне возможность совершить путешествие на Алтай, венцом которого и был тот самый

акт, запечатленный на фотографии. Было это в июле 1971 года.

С тех пор я Валегу не видел. Сейчас ему лет шестьдесят с гаком.

Все вышеизложенное — факты. Война, книга, фильм «Солдаты» — в нем Валегу играл Юра Соловьев, с которым они в ту, алтайскую поездку крепко сдружились — действительность смешивалась с вымыслом, но в основе была жизнь. Такая, какой она была или могла сложиться. Дальнейшее будет сплошным вымыслом.

Поступки советской власти необъяснимы. Логика не главная отличительная ее черта. Неудобных ей людей она или убивает, или ссылает, или выдворяет. Я оказался в положении третьих. Хотя я и отщепенец, и ренегат, друзья мои, попав в Париж, как правило, встречаются со мной. И потом, как ни странно, никто их не осуждает. Видали? Видали. Ну, и хорошо, что сказали. Все. И в то же время переписка невероятно осложнена. До кого-то мои письма доходят, до кого-то — как топором, отрублено. Ни мне, ни от меня.

Книги, само собой разумеется, изъяты, а фильм нет-нет, да и появляется на экранах. Девятого мая, ко Дню Красной армии. Кто-то говорил мне, что даже фамилия в титрах как будто стоит.

Казалось бы, что может быть естественнее продолжения завязавшейся на фронте дружбы? В газетах, ко Дню Победы, полно фотографий целующихся и обнимающихся где-то на Красной площади или у Большого театра поседевших, полысевших, увешанных орденами ветеранов. Или стоит такой в сторонке, а на груди табличка — такой-то полк, такая-то дивизия.

Фронтальная дружба — святая дружба... Никто не забыт, ничто не забыто...

Впрочем, есть и — не забудем, не простим.

Как же преодолеть всю эту чепуху, невидимые баррикады и берлинские стены? На первое мое письмо из Парижа, поздравление с Днем Победы, Валегу ответил. Потом, как ножом отрезало. Вызвали, очевидно, в райком — «ты что, спятил?». А он человек дисциплинированный. Я — несколько менее, и, чтоб знал он, что райком мне не указ, посылаю ему к каждому Новому году большие настенные календари — пускай украшают стены его дома вся-

кие там восходы солнца на Юнгфрау и Женевские озера с Шильонскими замками — швейцарские календари лучше всех. Последний был отправлен из Москвы. Ответил отправительнице — не от Виктора Платоновича ли это подарок? Было сообщено, что да.

Окрыленный успехом, послал недавно, опять же с okazjiей, часики. Кварцевые, прозрачные, все колесики, винтики видны, крутятся, тикают. И три запасные батарейки. Дойдут ли? (Вспоминаю, как послали мы с сыном его другу, заядлому рыболову, в Кривой Рог японскую удочку. Немыслимой длины и гибкости. На таможне, мне рассказывали потом, на час вся работа прекратилась — рассматривали, щупали, цокали языками. Месяц-другой спустя спрашиваю сына, много ли щук и карасей наловил этой удочкой его друг? Сын посмотрел на меня, как на идиота — о каких щуках может идти речь? Да появись он где-нибудь на берегу речки с этим японским чудом, его в лучшем случае искалечат до неузнаваемости, и видал он эту удочку. Нет, просто по воскресеньям садится в кресло, вынимает парижский подарок и молча любуется... А вы говорите, щука...)

Один француз, немолодой и совсем неглупый, спросил меня как-то, почему бы мне не организовать вызов Валеге в Париж? Представляете, как ему было бы интересно? Милому моему французу это казалось совершенно естественным. Он, например, встретился с американцем, с которым лежал в госпитале. Тот специально из Калифорнии приехал. Что я ему мог ответить? Я вот даже с немецким летчиком, фотографировавшим наши позиции со своей чертовой «рамы», как-то в Германии напился, и потом он прислал мне сохранившийся у него аэрофотоснимок нашего Мамаева кургана... А вот с Валегой...

Остается только фантазировать.

Рисую себе такую картину. Сидим мы с ним в кафе «Копакабана» под грибком, у самого синего Средиземного моря, и пьем пиво, отмечаем мой день рождения. Закажем форель с хрустящей жареной картошечкой-фри. Оба мы в маечках с какими-то чайками или Микки-Маусами, оба в шортах. Этому последнему он будет усиленно сопротивляться, но мне удастся его убедить, что здесь все так ходят, стоит ли нам выделяться. Дело происходит в маленьком городке Колюр, возле самой испанской границы.

Солнце заходит. Ветерок. По пустынному пляжу бегают карапуз, гоняет мяч. За нами четверо стриженных, загорелых ребят в браслетах, с цепочками на шеях. Валега посматривает на них.

— Это солдаты, — скажу я.

— Солдаты?

— Солдаты. Что-то вроде десантников, парашютистов. Здесь их учебный центр. Тренируются.

Валега помолчит, потом спросит:

— Срочная служба?

— Ага. У них здесь двадцать месяцев. И по тысяче франков в месяц получают.

— По тысяче франков?

— По тысяче. А часики твои стоили двести пятьдесят.

Он начнет подсчитывать что-то в уме. Он все время будет подсчитывать, переводить на советские деньги. Впрочем, этим занимаются все приезжие из Советского Союза, будь то писатели, инженеры, звезды экрана.

— А знаете, сколько мне за ваши часики давали?

— Рублей полтора ста?

— Двести пятьдесят...

— Ничего себе. Две моих бывших пенсии. Я сто двадцать получал.

Валега не отрывает взгляд от той четверки, свободно развалившейся в плетеных креслах и поглядывающих на проходящих девиц.

— А что они пьют?

— Очевидно, панаше. Это пиво, разбавленное какой-то бурдой.

— А водку им что, нельзя?

Я смеюсь.

— Сколько угодно. Только здесь это не принято. Французы предпочитают вино... Ну, а мы? Ударим еще по пивцу?

Мы пробуем все сорта — «Кронеберг», «Кантербрау», «33», «Эннеси», «Хейнекен». Говорим не только о ценах. Хотя «а помнишь? а помните?» было по всем правилам. В первый же день в Париже. Но как не вспомнить опять, например, Одессу, ведь мы вместе ее освобождали двадцать два года тому назад, 13 апреля 1944 года. Вспомним мы об Одессе уже не на набережной — станет прохладно, — а в кафе «Рамбалада». Закажем на этот раз по кумку мяса с острой подливкой. Возьмем бутылочку винца, местного,

достаточно крепкого. Валега с любопытством будет рассматривать развешанные по всем стенам картины. Принесут мясо. Вы только посмотрите, как мой алтайский колхозник орудует ножом и вилкой. Куда мне с моими манерами, которые осуждала еще тетя Соня. «Не представляю, как ты будешь себя вести, когда попадешь в Швейцарию за табльдот...» Вообще, держится он спокойно, с достоинством, локти на стол, как я, не кладет.

Должен сказать, что и по части восторгов и немого окаменения перед парижскими витринами он куда сдержаннее московской литературно-кинематографической элиты. Только перед охотниче-рыболовным магазином происходит задержка, и по вдруг вспыхнувшему в его маленьких глазках огоньку мне ясно, что внутри у него что-то происходит. Я этим пользуюсь. От охотничьего ружья приходится отказаться — не пропустят через границу, да и охотничье свое удостоверение он оставил дома. Останавливаемся на спиннинге, который и хозяин, и принявшие участие в нашей покупке постоянные покупатели очень хвалили. К тому же нужны еще и леска (купили какую-то особую, под названием «Нилофри», длиной в 450 метров!), и крючки, и еще какие-то причиндалы. Валега, эмоции которого на лице не выражаются, счастлив. Сужу по усиленно работавшим желвакам. Кстати, об эмоциях. Проявились они у Валеги только однажды. На колюрском пляже. Вид женщин без лифчиков вызвал у него явное осуждение. Даже матюкнулся, что тоже не в его привычках.

— Молодые, трам-тара-рам, еще туда-сюда, но старухи... — и плюнул.

Выпиваем за сталинградских друзей. Конечно, за моего Ваньку Фищенко, пьяницу, забулдыгу, лихого разведчика — его если не весь Сталинград, то вся дивизия знала. Заказываем еще одну бутылочку.

«Пей, пей, Валега, пей, оруженосец! Видишь, что немцы с городом сделали? Но ничего, побываем мы с тобой в Берлине. Обязательно побываем. Ты хочешь? Я очень хочу».

Это из моей книги. Я помню эти строчки наизусть и тут же декламирую их. Несколько громче, чем надо. Валега деликатно коснется моего колена — на нас смотрят...

Говорит тихо, голоса никогда не возвышает. Даже когда отчитывает меня. Было это и тогда, в незапамятные вре-

мена, да и сейчас тоже. Не без улыбки, малость недоверчивой, выслушает мой рассказ о встрече с одесситом в Гонконге, и скажет:

— Ох, и переволновался я тогда в Одессе, товарищ капитан.

— Отставить, товарищ боец!

— Ну, Виктор Платонович... Ведь вы выпьете и море вам по колено. А кругом мины неразминированные. Старший-то лейтенант Щербаков как раз на мине подорвался.

— Кстати, ты где меня тогда обнаружил? И когда? На третий день?

— На второй, к вечеру. В бадеге, конечно. С какими-то цивильными. Не знаю уж, какую пол-литру давили...

— Да, было дело...

— Уложил я вас спать тогда, а на утро — «Валега, подай фляжку!» — Пришлось дать. Потом спохватились — где батальон? Собираем помаленьку, говорю. А вы — «Зови Петриченко!». Помните, командира первой роты? И как стали его отчитывать — и такой, мол, и сякой, все, мол, перепились, кто ж воевать будет? И опять за фляжку. И оба в дугу упились. Я, правда, малость разбавил...

— Вот гад...

— А как же иначе. Того и гляди в Париж какой-нибудь сиганули б, как тот ваш с Гонконга... До сих пор ума не приложу, как это упустил я вас потом в Люблине. Обратно же напились.

— Было, было, что греха таить.

— Мне начфин потом рассказывал. Пивной склад какой-то разнюхали. И назюзюкались. Поить стали танкистов. И бац, начфин и охнуть не успел, уже на танке — вперед, славяне, за родину, за Сталина! В медсанбате потом, в Лущуве, в глаза мне не смотрели...

Не смотрел-таки, не смотрел, знал, что виноват. Вынесло меня, героического советского офицера, в самый центр города, на Краковское пшедместье, а там немецкий снайпер с крыши — раз! — и покати́лся освободитель кубарем с тридцатьчетверки. Пулевое ранение в правое плечо с повреждением нерва.

На всю жизнь я запомнил Валегины глаза на следующее утро в медсанбате. Ненавидящие и любящие. Глаза отца. Отчитывающего непутевого сына.

— На минуту оставить нельзя, тут же нашкодите...— и, порывшись в прстивогазе,— ложку вам принес, зубную щетку, пасту ихнюю, бритвенный прибор, записную вашу книжку, зеркальце.— И, угрюмо помолчавши: — Дать, что ли, глотнуть?

Тут я не выдержал и обнял его.

Глотнули по глотку, даже по два и расстались на двадцать семь лет. Последнее, что я помню — его взгляд, уже на выходе. Осуждающий, но не до конца. Сделал какое-то прощально-приветственное движение и ушел. Маленький, лопоухий, в пилотке на самой макушке, в громадных своих ботинках с загибающимися кверху носками — хоть не жмут, говорил.

Думал ли я тогда, что пройдут годы и увижу я его в пиджачке, в беленькой, застегнутой на все пуговицы рубашечке, стоящим на трибуне в наполненном до отказа клубе алтайского поселка Бурла.

Только что показали нам картину «Солдаты», и участники битвы, а их оказалось человек шесть-семь, один за другим выходили на сцену и каждый вспоминал что-нибудь героическое. Председатель, секретарь райкома, стучал карандашом по графину: «Закругляйся, Кирюха, другим тоже хочется».

Валега отнял времени не больше минуты. Кашлянул раз-другой и сказал:

— Да что говорить... Минировали, разминировали, спираль Бруно ставили. Вообще, все одно и то же. Ну, что еще? Землянки копали, всякие там НП, КП... Руки попухали... Вот так и воевали...— На этом и кончил.— Спасибо за внимание.

Я с трудом удерживал слезы. Я человек сентиментальный.

И еще раз вспомню это его выступление в тот мифический колюрский день. Не знаю, почему именно в тот вечер, а не на следующий день отцы нашего городишки отмечали годовщину обращения генерала де Голля к французскому народу 18 июня 1940 года. В тот день родилось Сопротивление.

На крохотной площади, в тени громадного, развесистого платана четверо ветеранов, все в орденах, держали знамена. Мэр города произносил речь. За ним еще два-три человека. Присутствовавшая на церемонии не слишком густая толпа

хлопала каждому оратору. Шеренга солдат в хаки стояла по стойке «смирно». Под конец исполнена была «Марсельеза».

Когда я выпью лишнего, у меня появляется склонность произносить речи, спичи. Хорошо, что к тому моменту мы с Валегой только начали, а то вышел бы, пожал несколько удивленному мэру ручку и начал бы на своем плохом французском языке рассказывать подобно тому алтайскому Кирюхе о чем-то героическом, тыча пальцем в Валегу — вот он, живой защитник Сталинграда, которому все мы, все вы обязаны...

К счастью, ни коньячка, ни водочки «Смирновской» к торжественной той минуте мы еще не приняли. Это было уже потом.

В двенадцать «Рамбалада» закрывается, и мы, захватив с собой парочку бутылок местного вина «Баниюль», отправимся домой вспоминать невспомянутое еще.

Что произошло бы утром следующего дня, нетрудно догадаться, благо домашние церберы все далеко.

И подумал я — вспоминай я прошлое с Валегой еще день, другой, третий, и отдал бы я концы. Какое прекрасное завершение жизненного пути — на руках у Валеге.

Хэппи-энд получился не слишком-то мажорный, но сколько в самом рассказе светлого, радужного — чем не социалистический реализм?

Глупая она все-таки власть, советская.

4.

От слова «Любить»

Он был старше меня лет на пятнадцать. К моменту, когда «великая социалистическая революция, о которой столько говорили большевики, свершилась», он успел уже поплавать матросом на торговых кораблях РОПиТ, быть послушником в Афонском монастыре и встретить это самое свершение на Дворцовом мосту возле Зимнего. Но об этом после.

Он был писателем. Известным. Но меньше всего любил говорить о своем ремесле. Вообще, говорить он не очень любил, человеком был немногословным, но после рюмочки-другой, — а это он любил, — и если собеседник ему при-

ятен, мог кое-что и рассказать интересное. Например, как понимал его Сталин. Но и об этом после.

Со стены на нас смотрит — нет, не на нас, а на спичку, которой зажигает трубку — немолодой, горбоносый, бородатый человек. Сейчас он сделает несколько затяжек и скажет: «Ну, что ж, по маленькой и в путь?» А путь это или на охоту, он великий охотник, убивал даже белых медведей, или в сельпо за пополнением, или предстоит выслушать увлекательный и в то же время неторопливый рассказ о стамбульских кабаках, берлинских «бирхалле» или пивной на углу Литейного, где в углу, одинокий, молчаливый, необщительный, часто сидел Александр Блок. «Как-то мы заглянули туда, я с Куприным Александром Ивановичем, потом подсел к нам Грин...» Такая вот компанейка, в пивной на Литейном, в незапамятные времена...

Человеком этим был Иван Сергеевич Соколов-Микитов, и то, что свела меня с ним судьба, почитаю за великое счастье.

Судьбой, сведшей меня с ним, оказались Володя Тендряков и Даниил Гранин. Мы вместе отдыхали в Малеевке в Доме творчества, и как-то они подошли ко мне, двое, и сказали: «Хочешь, мы познакомим тебя с замечательным человеком? Он вчера только приехал. Век нам будешь благодарен». Они не ошиблись.

Ивана Сергеевича очень любила моя мама. У нее был нюх на хороших людей. Когда он, большой, по-украински «кремезний», крепко сколоченный, в уютной мягкой куртке с карманами заходил к нам в комнату и, якобы смущенный, останавливался у дверей, мама, все наперед зная, расцветала улыбкой.

— Зинаида Николаевна, — начинал он, топчась у дверей, — что надо делать, когда вдруг прилетит к тебе ангел, а у него под крылышком знаете что? Бутылочка... Сидит вот он у меня в комнате, ждет, что вы скажете?

— Ну, как ангелу откажешь? — смеялась мама. А иногда добавляла: — А познакомиться с ним можно?

— Как же, как же, Зинаида Николаевна, — и заходя к себе в комнату, великолепно удивлялся. — Улетел... Застенчивый он у меня, боится большого общества. Но бутылочку оставил, спасибо ему. Малость оттаяла, а то летел по небу полуночи, а на дворе морозец, вся запотела...

Есть такое определение — «прекрасный собеседник», «великолепный рассказчик». Я побаиваюсь этой категории людей. Первые иногда, правда, не только говорят, но и слушают, — таким был покойный Паустовский, вторые же не закрывают рта ни на минуту. К этим вторым относится чемпион разговорного спорта Ираклий Луарсабович Андронников. Рассказы его изумительны, смешны до невероятия — когда я впервые его услышал, у меня долго потом болели щеки и живот, — но остановиться он не может. Помню, делегация советских писателей летела в Италию на международную конференцию. В самолете он начал что-то рассказывать о Лермонтове. В середине рассказа, кажется, Панова перебила его:

— Ираклий Луарсабович, а под нами Монблан, как грань алмаза...

Он, бегло взглянув в иллюминатор, сказал «А-а-а» и продолжал: «Да, так Михаил Юрьевич, как вы знаете, не отличался ни ростом, ни красотой...»

Иван Сергеевич был рассказчиком совсем другого рода. Говорил он не торопясь, то и дело зажигая гаснущую трубку, и рассказ его не был заранее подготовлен, как у того же хотя бы Паустовского, он развивался спокойней, иногда отвлекался в сторону — это если перебеешь и спросишь — но потом возвращался в основное русло и, подобно гоголевскому Днепру, тихо катил волны свои.

Вспоминает он, например, о своей жизни в Англии, когда корабль, на котором он служил матросом, был интернирован в Гулле. Пробыл там что-то около года, работал в доках.

— Значит, и английскому научились? — спрашиваем.

— Да что вы... Ни бе, ни ме. Вообще, я туп к языкам.

— А в Берлине на каком объяснялись? Ведь вы там довольно долго жили.

— А что объясняться? Зайдешь в пивную, скажешь «айн бир, цвай бир», и все ясно.

Я немного путаюсь в его биографии, что после чего происходило. Родился в лесах Смоленщины, в молодые годы моряком ходил рейсами Российского Общества Пароходства и Торговли по ближневосточной линии Одесса — Константинополь — Яффа — Александрия и назад с заходом в греческие воды. Тогда-то и прельстили его покой и благолепие Афонского монастыря — «Нравится, оставай-

ся,— сказал ему капитан.— А когда надоест, заберем обратно». Потом война, летал на знаменитом «Илье Муромце», бомбил немцев. В Гражданскую в Киеве попал в плен к белым. Чуть не был расстрелян, спас офицер, знавший его еще по гимназии. Потом Крым. Батраком на винограднике писателя Шмелева. Потом опять корабль, тот самый, что был интернирован в Гулле. Прошел год, соскучился по дому. Каким-то образом оказался в Берлине. По дороге в Питер. Там на какое-то время осел, в те годы в Берлине была большая русская колония.

— А почему не прямо, а через Берлин? — спрашиваем.

— Так там же Саша Черный, самый добрый человек в мире. Мы с ним еще в Питере дружили.

Из этого я заключаю, что литературную деятельность свою он начал где-то между бомбардировщиком и киевским пленом. Жил какое-то время в одной комнате с Ремизовым на Васильевском острове. Тогда же, видимо, и в пивную на Литейном заглядывал.

В Берлине познакомился со многими русскими писателями, их было там предостаточно. Андрей Белый, Цветаева, Алексей Толстой, наезжавший Есенин — не понравился: шумный, самовлюбленный. Максима Горького тоже не очень жаловал — пить не пил, других угощал, но если, случалось, выпивал, забывал, что надо окать...

Недавно, у букиниста на берегу Сены обнаружил я журнал «Жар-птица» — издавался такой в двадцатые годы в Берлине. Мало в чем уступавший дореволюционному «Золотому руну» или «Аполлону», с обложками Билибина, Добужинского, с цветными вклейками. И там, в этом номере за 1921 год, наткнулся на рассказ Ивана Сергеевича о маленькой девочке; очень мне было приятно.

Вернулся он в родные края, когда Петроград не был еще Ленинградом. Именно тогда завязалась у него длившаяся всю жизнь дружба с Фединым. Дружба эта единственное темное пятнышко на белоснежном фоне ничем другим не запятнанной биографии его. В свое время очень известный автор популярного романа «Города и годы», писатель Константин Федин к концу своей жизни стал важным сановником, председателем Союза писателей, «Чучелом орла», как его называли. Человеком он был плохим, я его немного знал.

— Ну, что вы хотите, — говорил Иван Сергеевич, отводя взгляд. — Костя первый человек, с которым я распилил первую бутылочку на родной земле, такое не забывается. И кое-что даже прощается.

Я не помню, чтоб Иван Сергеевич о ком-нибудь когда-нибудь говорил плохо. И о Косте тоже, хотя как никто другой знал всю подноготную его жизни. Разве что скажет, когда мы пытались открыть ему на что-то глаза: «Да, конечно, конечно... И все же жалко. Кровавым же потом пишет свои «Костры», а они тлеют, чадят, никто их не читает. Грустно... Вообще много грустного на земле...»

А вот самого Ивана Сергеевича я никогда не назвал бы грустным. Хотя в жизни его было более чем достаточно грустного. Две его дочери — обе красавицы — умерли молодыми. Одна от туберкулеза в Крыму — поэтому в любимый всеми нами Крым его было не затянуть, — другая утонула в озере, катаясь на лодке, где-то под Ленинградом.

Улыбался он редко и то больше глазами, но исходило от него всегда какое-то неизъяснимое чувство покоя. Движения несуетливые, плавные, уверенные и походка такая же, по-украински «мирною ходою», кстати, любимое выражение киевских «письменников», когда речь шла о Сталине. Это может прозвучать чудовищно, но нечто сталинское в Иване Сергеевиче было. Чисто внешнее, скажем, «мирна» эта «хода», набивание и прикуривание трубочки. А может, просто схожие фотографии? Есть и у Сталина такая. Прикуривает, и огонек спички, и глаза на огонек. (К величайшему своему изумлению, я обнаружил эту фотографию над кроватью Твардовского. Не над письменным, скажем, столом, там висел Бунин — а у изголовья, первое, что проснувшись видел — усы вождя...)

Я как-то жил у Ивана Сергеевича в Карачарово — был у него там в лесу на берегу Московского моря домик. По утрам я сидел на веранде и писал. Иван Сергеевич, деликатнейший из деликатных, заходил иногда, садился на лавочку в стороне, закуривал — не помешаю, здесь солнышко, тепло? А тепло-то исходило не от солнышка, а от него. И конечно же, писанию его приход мешал — ну, и черт с ним, с писанием, успею — но сам приход был зарядкой на весь день. «А не выпить ли нам кофейку, Иван Сергеевич?» И мы пили кофеек. И он рассказывал об Александре Грине или о петухе-алкоголике. Был у них

такой, в деревне. Каждое утро в нужный час приходил к казенке. Когда-то мужики его напоили. Курица подохла или зарезали, а яйца остались. Вот и решили, чтоб он их высидел. Напоили, посадили на яйца, он и заснул. Так и высидел цыплят. Но стал алкоголиком. И с тех пор каждое утро — к открытию магазина. Ну и капали ему мужики за воротник. Все были довольны, петух в частности.

Посидим за кофейком, поговорим о петухе, об афонском благолепии (есть у него не переиздававшийся у нас чудный рассказ «Там, где птица гнезда не вьет», об Афоне), встанет и скажет: «Пойду-ка и я чего-нибудь поцарапаю».

К «царапанию» относился серьезно. И в то же время не переносил, когда ему об этом говорили всерьез, многозначительно, со знанием, якобы, дела.

— Знаете, что нас с вами сближает? — говорил он мне. — Не только то, что мы с вами любители этого самого, — он кивал в сторону графинчика с разноцветными камешками, которые мелодично позвякивали, когда выливалось содержимое. — Нет, не только поэтому. А потому, что мы вообще любители. И писатели — любители. Слово-то какое хорошее — от «любить»...

Нет, он не был сторонником знаменитого «ни дня без строчки». Писать надо, когда хочется. Когда есть о чем. А нет — и не пиши. Тут он в корне расходился с Василием Гроссманом, который профессионализму придавал громадное значение. На этой почве мы с ним даже поспорили. Он считал, что я малость кокетничаю. И пожурил даже — ай-да Моцарт сталинградский, мамаевский... А сам в это время писал «Все течет» и «Жизнь и судьба», о существовании которых я узнал и прочел только после его смерти... Писал он это не чернилами, писал кровью.

Знакомы ли они были — Иван Сергеевич и Василий Семенович? Не помню. Кажется, нет.

Вообще, с окружавшими его, жившими в ту пору писателями особой дружбы у него не было. За исключением Твардовского и ненавистного нам Федина. (Когда-то мы с Граниным в нелегкую для Ивана Сергеевича пору напросились к нему, председателю, на прием. Поговорить о переизданиях Соколова-Микитова, мол, плохо у него сейчас с деньгами. Федин пророкотал нам своим поставленным актерским голосом: «Вы что ж думаете, друзья мои, что,

вот, так сниму трубку и позвоню?» «Да, именно так мы думаем» — сказал Гранин, и мы ушли.)

С Твардовским дружба была настоящая. И не потому, что один писал, а другой печатал его. Возможно, потому, что оба были смоленские, оба из мужиков. Но, как ни странно, из мужиков-то мужичков, но в обоих сквозил некий аристократизм. В Трифоныче более барский — достаточно было посмотреть, как он входил в ресторан, официанты тут же стлались, — в Иване Сергеевиче же внутреннее, прирожденное благородство. В каждом жесте, в каждом слове. Откуда бы?

При всем его демократизме, простоте, было в нем что-то от дворянина-помещика. Вряд ли он сек бы своих дворовых, но чубук бы покуривал, сидя у камина, и портреты в овальных рамах на густо-синих стенах его ленинградской квартиры висели, мебель вроде павловских времен, и не пахла она комиссионкой. А в карачаровской избушке — ружья на стенах, и не декоративные, а убивавшие волков, медведей, ягдташи, патронташи, охотничьи кинжалы. На полочке над камином лубяные туесочки, эскимосские костяные штучки — он обходил с ружьем весь север, есть даже залив его имени, плавал, если не ошибаюсь, на «Малыгине». В связи с этим походом Сталин-то его и вызывал. «Очень он мне тогда понравился. Спокойный, обходительный, умеющий слушать. И, представьте, крови на руках не заметил. Не всех же писателей убивал. Кого-то и уважал. Пастернака, Булгакова, например. И руки мыл, если кого на прием приглашал. А так вполне уютный старик. Табачком угостил. Покурили мы с ним свои трубочки...»

Много было юмора в Иване Сергеевиче. Тонкого, ненавязчивого, так, к слову. И вкус у него был тонкий, не изощренный, показной, а именно тонкий. Я придаю значение вещам, окружающим человека. Как армейское, смотря в чьих устах, ироническое «сапоги — лицо офицера», так и писательский стол в какой-то степени — лицо его хозяина. Опять-таки, например, столы Толстого и Чехова.

У Ивана Сергеевича, хотя я и не знал, печатает ли он на машинке или пишет ручкой, карандашом, на самом главном месте, как и положено, стояла чернильница. Не ахти какая, не особый какой-нибудь раритет, но прошлого века. Разрезные ножички из кости, возможно, медвежьей или моржовой. Инкрустированная коробочка для марок.

(У Чехова две — одна для писем, другая с содранными или отмоченными с конвертов марками, аккуратно сложенными в стопочки, перевязанные ниткой. А филателией ведь не интересовался — так написано на картонке рядом, в его ялтинском доме.) Фотографий только две. Дочерей. Он их очень любил.

Была у него и жена, Лидия Ивановна. Говорят, в молодости красавица. Сейчас маленькая, аккуратная, подтянутая, с ироническим изгибом губ. По-видимому, любил и малость побаивался. А может, это была и игра. «Пока Лидии Ивановны нет, пошарьте-ка там за диваном, может, чего-то и найдете». Это уже когда он ослеп, лежал на диване, прикрытый одеялом.

Но даже и в те, последние годы глубокого кресла и дивана — передвигаться ему было уже трудно — даже тогда чувствовалось, угадывалось в нем то, что являлось его сущностью — мужественность.

Когда-то нашим кумиром был Хемингуэй — сильные герои его, немногословные, отважные, умеющие любить и дружить. В жизни как-то не очень часто встречалось такое завидное сочетание, поэтому и зачитывались мы Хемингуэем, пытались ему подражать, походить на его героев. А вот познакомившись с Иваном Сергеевичем, я вдруг понял — так вот же он, наш русский вариант того героя. Моряк, рыболов, охотник. К тому же, немногословный. И красивый. Он и в старости — седобородый, в черной суконной фуфайке, прикрывавшей лысину, был красив, а представляю его молодым, двадцатилетним морячком в тельняшке. Сколько сердец было покорено.

Не знаю, что он нашел во мне, но я в нем то, что мне самому не хватало. Настоящий мужчина должен любить охоту, бильярд, сражения, войну. Быть картежником, игроком, кружить голову женщинам. А я всю жизнь нравился преимущественно старым дамам, футбол и хоккей ненавижу, ни в бильярд, ни в очко, ни даже в шахматы не играю, люблю клеить фотографические альбомчики, сам стираю себе носки и носовые платки, обожаю порядок, занудно ворчу, когда сковородка повешена не на место. Все это так немужественно. А главное, ни разу в жизни не поймал ни одной рыбы, не собрал ни одного гриба, не застрелил ни одной куропатки или вальдшнепа.

— Да, — сокрушенно качал головой Иван Сергеевич, — тут вы, дорогой Виктор Платонович, дали маху. И лишили себя многого.

Я что-то мямлил насчет жалости, нежелания убивать живое.

— Клоп тоже живое, и комар, и блоха... А не жалеете... И в охоте выстрел, ей-Богу же, не самое главное. Ночь, утро, туман, лесные звуки, ночной костер, наконец, охотничьи рассказы. А сборы? Выбор ружья, пригнать амуницию, чтоб не звенело, не стучало... Ну, и само собой разумеется, фляжечка. У костра. Нет, нет, многого вы себя лишили, очень многого.

И я умолкал, сникал. Последнее обстоятельство окончательно меня доканывало. Пил везде, может быть, даже больше, чем другие мужественные мужчины, а вот у охотничьего костра... Нет, обошел меня в чем-то Творец.

И еще одно было в Иване Сергеевиче. Прожить такую нелегкую, сложную жизнь и умудриться взять и помнить в ней только хорошее. И в людях видеть хорошее (слушать умеет, табачком угостил — тут уж юморок), и в пережитом вспоминать тоже, если и не всегда хорошее, то где-то забавное.

Ночь на 25-е октября. Историческая ночь.

— Жил я тогда на Васильевском. Вместе с Ремизовым. Пили мы с ним в тот вечер чаек, один кусочек сахару на двоих. Потом захотелось вдруг воздухом подышать. Пошел. На дворе промозгло, неуютно. Народу никого. Прошел мост и вижу на той стороне группка людей стоит, небольшая. Подошел. Смотрю, стоит среди них солдатик, маленький, в смушковой шапке, носили тогда такие, папаху не папаху, колпак какой-то, в руках винтовка. Замерз, под носом мокро. «Что ты тут делаешь, сынок?» — спрашивают его. «А так, сторожу». «А что сторожишь?» «А Бог его знает, что. Поставили и стою». И тут вдруг кто-то сказал: «А ну, малый, сними-ка шапку». Малый шапку скинул, и вывалилась из-под нее коса. «Так ты баба?» Хохот на всю площадь. «Бросай-ка ты свое ружье и вали отсюда. Не бабье это дело...» И побрел наш солдатик неизвестно куда, во тьму...

— Ну, а когда же революция произошла, штурм Зимнего, залп «Авроры»?

— Чего не знаю, того не знаю. Какой-то крейсер ли, броненосец стоял возле моста, но стрелять не стрелял. Я потоптался, потоптался и пошел домой... А наутро прохожу мимо Зимнего и чувствую носом, чем-то родным, спиртным пахнет. Откуда бы? Подошел поближе, вижу, все окна в подвалах дворца настезь и оттуда солдатики лезут, покачиваются, веселые. Винные подвалы царские ликвидируют. А как они во дворец попали, шут его знает. Может, и штурмовали.

Ко всему последовавшему после этой памятной ночи относился Иван Сергеевич, мягко выражаясь, неодобрительно.

— В политике я, конечно, не большой специалист, но то, что уничтожили крестьянство, этого простить нельзя. Нет его больше на Руси. Колхозник это не крестьянин. Он землю не любит, а мужик русский ее любил, знал, понимал, не мог без нее жить. А сейчас что? Клочок земли возле дома, разве это земля, квадратные метры, а не земля...

Сколько печали было в его интонациях. Не злобы, не ненависти, а именно печали. Он знал Россию, когда в ней был какой-то уклад. И пили-то не так, как сейчас. Больше по праздникам. Тем-то они и отличались от будней. А в будни все же работали. Пахали, сеяли, убирали хлеб. А сейчас? Работать никто не хочет, не просыхают с утра до вечера. И винить-то кого? Что остается делать? Пока сивуху продают, ничего не изменишь. А введут сухой закон, страна в самогоне утонет. Кстати, знаете, когда на Руси самогон появился? Думаете, что всегда был? А вот и нет. После войны той, мировой, появился. Во время войны на водку-то запрет был. И только в 24-м году сняли. Что ж было делать? Вот и начали из сахара гнать. Премию надо было б дать тому, кто это придумал. Отрава, но все же не такая.

Он не видел выхода из положения. И не любил об этом говорить. Политик я, мол, никакой. Но в жизни этой, а познал он в ней много лиха, никогда ни перед кем не унижался, не приспосабливался, никого ни о чем не просил, не требовал. Жил не по лжи. К нему это применимо в полной мере. Вероятно, это и есть мудрость, то, что сохраняло его таким, каким он был. Потому и тянулись к нему люди, любили.

Как-то, в минуту откровенности, я сказал ему об этом.

— Нет, Виктор Платонович, не перехваливайте меня. Все мы люди, все мы человеки. Со всеми слабостями. Горький писатель великий и когда-то много добра людям делал, но не любил я его. И в какой-то анкете, в начале двадцатых, любили тогда такие анкеты, на вопрос, чем обязан Горькому, ответил — ничем. А потом, когда переиздавать ее в какой-то книге решили, воззрились на меня, с разных сторон начали подкатываться — разве можно, классик, родоначальник, великий мастер. Вот и пришлось вставить — мастерству учился. стыдно и вспомнить.

А мне почему-то не было за него стыдно. Ну, учился, не учился, не все ли равно. Остались книги, по ним все видно. Ни разу, как почти все писатели, не лизнул, ни в каких кампаниях участия не принимал, благодарственных или требующих против кого-то кары писем не подписывал, ни «за», ни «против» не голосовал. «Вы знаете, я ни на одном собрании никогда не был, то больным скажусь, то в отъезде». Только за товарища Сталина пришлось проголосовать, уж больно жалко стало агитаторшу нашу, славная такая девочка, первокурсница, чуть не плакала».

Ну, и еще одно качество — доброта. А что, собственно, значит «доброта»? Щедрость, широта, как у грузин: мое — твое? Не обязательно. У Ивана Сергеевича это была просто любовь делать людям приятное. Невзначай похвалить, обрадоваться какому-то твоему поступку, сказать доброе слово о человеке, на которого как-то мало обращают внимания, даже слукавить, соврать мог, если видит, что это человеку доставит удовольствие.

В один из последних визитов к нему, как раз тогда, когда я шарил в загашнике за диваном, нашел и, малость расслабившись, мы настроились на уютную беседу, зашла вдруг Лидия Ивановна.

— Пришли к тебе, Ваня, болгарские писатели какие-то, спрашивают, можно ли повидать?

Иван Сергеевич поморщился:

— Что поделаешь, зови...

Уют кончился, я понял, что надо уходить. Прощаясь — болгары и даже сопровождающий их товарищ оказались довольно симпатичные, — я сказал:

— Дорогие болгарские содруги! Оставляя вас наедине с Иваном Сергеевичем, хочу сообщить вам, что он знаменит

не только своими книгами, а еще и тем, что он единственный человек на земном шаре, который пил и с Блоком, и с Гумилевым, с Андреем Белым, Есениным, Алексеем Толстым, Куприным, Александром Грином, даже с Горьким, а из ныне здравствующих с Фединым, Твардовским, ну и т.д. Скажите же прямо, Иван Сергеевич, — я вернулся к нему. — С кем из них вы больше всего выпили?

Он лукаво улыбнулся, сделал паузу и сказал:

— С вами, Виктор Платонович.

Он знал, чем мог мне угодить. Я был счастлив.

Кстати, об этом самом грехе, который он, между прочим, грехом не считал. «Непьющий человек — человек подозрительный, мы это с вами знаем», — говорил он и приводил тот самый пример с Горьким. Так вот, однажды видел я Ивана Сергеевича, человека, эмоции свои не расплескивавшего направо и налево, крайне огорченным. Шли мы с ним в любезное наше сельпо в Малеевке. Проходим мимо железной бочки с горючим. Вот и спрашиваю, поскольку шли мы в магазин не только за сушками и баранками.

— Интересно, выпили ли вы за всю свою жизнь такую вот бочку?

— Бочку не думаю, — он улыбнулся в бороду, — но половину, думаю, осушил.

Сидя потом в его комнате, подсчитывали. Пить начал с таких-то лет. В день в среднем по столько-то. В неделю, месяц, в год. Помножить на количество лет. На шестьдесят, допустим. Помножили и... Иван Сергеевич даже растерялся. Я никогда не видел его таким — получилось, что и десятой части не выпил.

Он печально покачал головой: «И времени-то уже не осталось, не наверстаешь. А я-то считал, что мне в жизни везет».

Вообще, он часто говорил, что ему в жизни повезло — больно уж много хороших людей повстречалось ему. И в море, и на войне, особенно на Севере — он любил Север.

— Да вот и сейчас, — говорит, — выйдешь на улицу, а я уж почти ничего не вижу, одни тени мелькают, и всегда найдется кто-то, кто и через улицу переведет и до самой злачной точки доведет, да и там все расступятся, без очереди пропустят... Эх, Питер, Питер... — тут он глубоко вздыхает. — Что я без него буду делать? Лидия Ивановна

все в Москву тянет. Из-за внука. Дескать, московская консерватория лучше ленинградской. А он чего-то тычет там пальцами по роялю. Ну, что мне там делать? Пропаду. Это же не Питер, даже не Константинополь, где я каждый кабачок, каждую кофейню знал... Плохи мои дела...

В Москву он все-таки переехал, жили на проспекте Мира.

— Нет, нет, нет... Не для меня. Не Константинополь, нет, или, как вы любите говорить, не Рио-де-Жанейро... Отнюдь.

Так вот, об этих самых хороших людях. Присутствовал я как-то на встрече двух таких человек. Ивана Сергеевича с его командиром «Ильи Муромца». Ничего более трогательного я не видел. Два старика, оба бородатые, оба лысые, сидят и вторую пол-литровку давят. Не без моего, правда, участия. — А помнишь, а помнишь? — перебивали друг друга. И все-то они помнили. И городского на углу Литейного и Невского, которому сунешь полтинник и он тебе из сугроба бутылочку, льдом покрытую. Еще и спасибо скажет...

— А Ньюру помнишь? У нее, наоборот, тепленькая была, между сисек согрелась. Из-за пазухи вытаскивала.

Нюра была сестрой милосердия из соседнего лазарета.

— Именно милосердия. Знала, как кому помочь. Сейчас-то и слова такого нет, и понятия нет. И сестры медицинскими называются. Не то все, не то...

К середине ночи я уже заснул, а когда проснулся, они все еще вспоминали каких-то штабс-капитанов и даже Сикорского, того самого конструктора «Ильи Муромца» и «Русского витязя» — напарник Ивана Сергеевича был с ним даже знаком.

Умер Иван Сергеевич в 1975 году, было ему 83 года. Я был уже в Париже.

Все собирался ко мне в Киев приехать, посидеть в той самой кондитерской, где его добровольцы схватили в 1919 году. Сохранилась ли она? На углу Костельной и Думской площади.

Нет, не сохранилась. Но мы бы нашли другую. Скорее всего, даже не кондитерскую... А может быть, просто дома.

17.06.86 г.

СЛАВИК ГЛУЗМАН

Я не суеверен, в чудеса не верю, но однажды...

Вот в Париже, на кладбище Пер-Лашез одно привлекающее всеобщее внимание надгробие, всегда засыпанное цветами. Среди роз и тюльпанов, между четырьмя колоннами, бюст некоего А.Кардека, отца спиритизма. Вокруг всегда люди. Легенда утверждает, что любое ваше сокровенное желание, прикоснись вы к бюсту спирита, осуществится — не просите только денег. И никому не рассказывайте...

Стыдно признаться, но я прикоснулся. Озираясь по сторонам, чтоб никто не видел. И попросил.

Вечером того же дня раздался телефонный звонок. Из Иерусалима. Некая киевлянка сообщала мне, что только что разговаривала по телефону с Семеном Глузманом. Вот его телефон, вот адрес. Позвоните, напишите. С телефоном из Парижа в зауральскую Нижнюю Тавду — место ссылки Глузмана — не получается, а переписка наладилась.

Утром, озираясь по сторонам, я попросил знаменитого спирита найти мне Глузмана. Почему не освободить, а найти — сам не знаю. Казнюсь. Повторять просьбы не положено.

10 сентября нынешнего 1981 года, Семену Глузману минет 35 лет. Когда его арестовывали, ему было 26 лет, а познакомились мы с ним года за три до этого.

Как-то в Киеве, было это в году в шестьдесят восьмом, получил я письмо от некоей незнакомой дамы. Ссылаясь на наших общих друзей, она попросила обратить внимание на одного милого юношу, с которым познакомилась, когда лежала в больнице. Он пишет, и ему нужен совет. Так вот, не мог бы я...

Я смог. Юноша пришел, принес рассказы. Тоненький, застенчивый, с очень интеллигентным лицом. Рассказы я прочел. Рассказы как рассказы. Об этом я и сказал Славику по дороге из больницы, куда я попросил его меня проводить, проведать лежавшего там моего друга.

С этого началось...

Он стал ко мне приходить. Нет, не в гости и не то, чтоб по делу, а так: то принести маме лекарство, то он где-то проходил и увидел, что дают гречневую крупу, и он взял, то еще что-нибудь в этом роде. И как-то все

сразу его полюбили. Был он мягок, деликатен, о поэзии не говорил. Потом стал приходить просто так, без дела. Стал принимать участие в вечерних чаепитиях, помогал маму поднимать (она была прикована тогда к постели), подвозить на кресле к столу.

И так постепенно, незаметно превратился он вроде как в члена семьи. Он кончал тогда мединститут, был очень занят, но, пожалуй, не было дня, чтоб не заскочил. Иногда на секунду («не нужно ли чего Зинаиде Николаевне, я как раз в ту самую аптеку иду»), иногда отвести душу или включиться в мытье окон — делал он это очень быстро и ловко.

Славик читал Самиздат. Ну, кто его у нас сейчас не читает? Может быть, даже не только читал, а давал еще кому-то прочесть. Это-то чтение и распространение и фигурировало потом в приговоре, отмерявшем ему семь лет лагерей.

Прочесть приговор никому не пришлось. Его прочитали на суде и на руки не выдали ни адвокату, ни родителям. А родители были так взволнованы (на чтение приговора их все-таки пустили, а так, нет, никого) и не все слышали, помнят только, что «за чтение и распространение» произведений Солженицына, какой-то речи или статьи Генриха Бёлля и пародии на роман Кочетова. Вот и все. Судья Дышель, знаменитый в Киеве специалист по инакомыслящим, спокойно произнес: «Семь лет исправительно-трудовых лагерей строгого режима и три года ссылки»...

Мы, наивные люди, пытались найти к нему, этому Дышелю, какие-то пути. Жена моего друга и его жена где-то вместе работали. Встретились тайно. Речь шла об ознакомлении с делом Славика. Хотелось его прочесть собственными глазами. Дышелева жена поохала, поохала, сказала, что сам Дышель очень переживает, жаль ему, мол, такого славного, такого интеллигентного мальчика, ночами не спит, но... Короче, дела мы так и не увидели, а Дышель, приняв, очевидно, перед завершением дела двойную дозу снотворного, спокойно (а может, и не спокойно, а волнуясь, трудно все-таки свой долг выполнять) объявил: семь лет!

Семь лет провел Славик в лагере...

Когда-нибудь он обо всем этом расскажет, напишет, но мне ясно одно — встретившись с ним, я обниму и рас-

целую не застенчивого, интеллигентного мальчика, а человека, которого даже лагерное начальство побаивалось. А друзья по лагерю полюбили. Он стал борцом. И защитником. И заткнуть ему рот никому не удалось. Его, написанная вместе с Вл.Буковским, «Инструкция для тех, кто попадает в психушку» обошла весь мир.

Передо мной две фотографии — одна, до всех событий — совсем еще молоденький, с сигаретой во рту, снял кто-то из друзей во время первомайской демонстрации, другая — Сибирь, Нижняя Тавда, диспетчер колхоза «Большевик». Повзрослел, усы, борода, но взгляд все тот же, серьезный, может быть, более печальный, чем хотелось бы...

Не произойди всего того, что произошло, не увлекись он Самиздатом, не познакомься он с плохими людьми, и появился бы на свет еще один хороший психиатр. А теперь?..

Настанет день, когда он вздохнет полной грудью. Я пробьюсь сквозь журналистов, друзей и знакомых, отобьюсь ото всех и, заметая следы, скроемся мы в одном из любимых мною парижских кафе, не скажу, каком. Возьмем по кружке пива (не больше, Славик мне не разрешит), взгляну я на него после более чем десятилетнего перерыва и спрошу:

— Ну?..

И он начнет мне рассказывать... Что? Не знаю. Но жду этого дня и часа, он настанет, это я знаю. И верю.

Нет, не зря я пошел тогда на Пер-Лашез.

08.03.1981 г.

МАТЬ — РОДИНА

Случилось-таки. Произошло... Знал, с тихим ужасом ждал, и все же не верилось как-то... Денег не хватит, и противного всемогущего автора нет уже в живых, да и, в конце концов, просто Бог не позволит... Но, вот, произошло...

Произошло в Киеве, 9 мая этого года, в годовщину дня Победы...

Шесть лет тому назад, уезжая из Киева, я пошел прощаться с ним, с прекрасным лицом его. Переехал на левый

берег Днепра, перешел мостки и через лозняк вышел к излюбленному своему месту — небольшому, уютному пляжику одной из днепровских затонок. Выкупался в последний раз, растянулся на прохладном еще песке. Было раннее утро, людей еще нет, я один... лежал и смотрел, любовался — тоже в последний раз — самым красивым из городских ландшафтов в мире — киевским силуэтом. Крутой правый берег, весь в зелени — она морем, волнами спускается к самой реке и среди нее маковки, золотые купола Лавры, Выдубецкого монастыря. А правее, значительно правее, над самым обрывом, стройная, изящная Андреевская церковь. И Владимир Святой с крестом в руках.

Лежал, любовался, а в голове одна мысль — неужели все же осмелятся, допустят, неужели никто не запротестует, не возмутится?

Нет, не запротестовали, не возмутились...

Недели за две до этого грустного моего прощания, встретил я одного своего знакомого. Художника. Спускался он вниз по бывшей Институтской улице. Мрачный, насупленный.

— Зайдем выпьем куда-нибудь, — говорит.

— Что это вдруг?

— Дела печальные.

— У тебя что-ли?

— Нет, у Киева...

— У Киева?

— Да! Только что присутствовал я на предварительном акте убийства его...

— Ничего не понимаю...

— Вот выпьем, расскажу...

Зашли куда-то...

— Так вот, — говорит, — только что дорогое наше правительство в полном составе приняло проект небызвестного тебе скульптора Вучетича. Аплодисментами приняли. Мать-Родину на склонах Днепра! Соорудят рядом с лаврской колокольней. Понимаешь теперь? Рядом. И на десять метров даже выше ее. И вся золотая будет... Кто-то там из художников пикнул, что, мол, надо как-то бережнее относиться к киевскому силуэту, на него цыкнули и все... Ну, как тут не напиться?

Прошло шесть лет. И то, чего все так страшились, произошло. Нашлись и деньги, и смерть автора ничего не

изменила, и Бог ничего не сказал, промолчал, и выросло на зеленых склонах Днепра нечто величиной с двадцатиэтажный дом, устрашающее, с мечом и щитом в руках. И прибыл по этому случаю увешанный с головы до ног регалиями Леонид Ильич со дружиною, и собраны были тысячные толпы, и развевались знамена, и потекли речи одна за другой. Четырежды — даже со Сталиным такого не было — четыре раза подряд поблагодарил тов. Щербицкий дорогого Леонида Ильича за то счастье, которое он всем доставил своим приездом, за волнение и гордость, которые все переживают в связи с этим выдающимся событием, за этот еще один яркий пример неустанной заботы и внимания партии и правительства и лично тов. Брежнева, за великую честь, оказанную им Городу-герою...

Говорили много и долго. И дольше всех Леонид Ильич. А потом опять Щербицкий, опять благодарил от всей души и от имени всех, кого так взволновала проникновенная речь дорогого Леонида Ильича...

И слушали речи эти не только заполнившие все склоны Днепра киевляне, слушали и расставленные у подножия памятника портреты тех самых членов родного ЦК, стоящих тут же на трибуне...

Потом был салют, фейерверк, парад, и разрезалась алая лента, и Леонид Ильич осматривал музей и писал слова благодарности в книгу Почета, и умилялся самым ценным экспонатом экспозиции — собственному удостоверению и боевому блокноту...

Было торжественно и радостно, и на глазах у всех были слезы. И у ветеранов тоже. Вспоминались те героические дни, когда, благодаря гению великого полководца, сдан был врагу будущий Город-герой и попали в окружение и плен войска, защищавшие Киев. Незабываемые дни, спасибо за них Партии и Правительству и лично тов. Сталину, виноват, тов. Брежневу...

Митинг закончен. Все расходятся по домам. И пьют. Ну, как не выпить по такому случаю. Есть что вспомнить, есть за что пить, за что благодарить. Всех, кого положено. И не дожившего, в том числе, до этого светлого дня Евгения Викторовича Вучетича. Навеки древний и вечно молодой Город-герой, город-труженик, город-красавец украшен теперь плодом его вдохновенного труда. Какими немощными кажутся теперь колокольни Лавры и Выдубецкого мона-

стыря рядом с полной силы и предостережения будущим врагам фигурой могучей и славной Матери-Родины. А то, что в облике ее больше тевтонского, чем русского или украинского, и похожа она скорее на Брунгильду — все это чепуха, все это злые языки говорят. Языки людей, которые всегда рады оклеветать все прекрасное, родное, советское...

И тут я умолкаю. Не в бровь, а в глаз мне попало. Действительно, какое право имею я, давно уже не киевлянин, говорить о митинге, на котором не был, о памятнике, которого не видел. Это нехорошо, нечестно. И я умолкаю.

20.06.1981 г.

МОИ СЛЕДОВАТЕЛИ

Читая последнюю книгу Абрама Терца (он же Андрей Синявский), я живо рисую себе образ следователя, ведущего следствие. Диалог презанятнейший, и чуть ли не со слезами на глазах у этого самого следователя.

«Ах, Андрей Донатович, Андрей Донатович! Вы думаете — мы не люди? Думаете — не больно? У меня у самого маленький ребенок. Чуть побольше вашего. Звать Наташей. Знаете, утром или вечером подойдешь к кроватке. «Наташа, говорю, Наташа, папка пришел с работы». А она смеется, прыгает на своих тоненьких ножках. «Папка! — говорит. — Папка!»

Этой, первой встрече следователя и подследственного посвящено много страниц и в диалоге, очевидно, много сочиненного уже впоследствии, для развития и углубления художественного образа (право писателя), но, с интересом читая эти страницы, я невольно вспоминаю своих следователей и некое, весьма существенное, высказывание самого Андрея Донатовича:

— Знай, дорогой Вика, что теперь у них не в моде бить по рылу и выкручивать руки. Сейчас они все интеллигентные, образованные, все про Чехова да Пушкина, ужом в душу к тебе заползают, по имени-отчеству называют. И ты попадаешь на удочку.

И другой, тоже весьма достойный человек, Иван Дзюба, вернувшись из тюрьмы, говорил мне:

— Главное, В.П., не ищите в следователе человека. Может, дома, с женой, с детьми, он человек, а здесь он на работе. Не поймете этого, и вам конец. В тюрьме надо уметь ненавидеть — это главное. И не переходить какую-то черту.

Оба эти разговора — с Дзюбой, еще в Киеве, и с Синявским, уже здесь, в Париже, я запомнил на всю жизнь.

К счастью, меня миновала судьба их обоих. Я не сидел. И из следователей, с которыми меня свела судьба, только один полковник Старостин — следователь по особо важным делам — был настоящим кагебистом, остальные же четыре именовались менее страшно — партследователи. Их-то и хочется мне сегодня вспомнить — они стоят того.

Начну с того, что отношения у меня со всеми четверьмя были если и не дружеские, то, во всяком случае, отнюдь не враждебные. Более того, думаю, что все четверо совершенно искренне желали мне добра и ни минуты не сомневались, что делают все, чтоб меня спасти, уберечь от необдуманного шага.

Первым был некто Солдатенко, второй секретарь Ленинского райкома партии. С ним встреч у меня было меньше всего, происходили они, в основном, на аллеях Николаевского парка — «давайте подышим воздухом» — и свелись в конце концов к тому, что на заседании райкома он присоединился к большинству и голосовал за мое исключение (в скобках напомним, что партийное дело на меня завели после «справедливой критики», как это тогда называлось, которой подверг мои очерки «По обе стороны океана» «наш дорогой, любимый Микита Сергійевич». Было это в 1963 году).

Кстати, судьба этого самого Солдатенко тоже весьма любопытна. Вскоре после нашего знакомства он стал вдруг ответственным секретарем Союза писателей, хотя литературный багаж его состоял из одного только газетного очерка о поездке в Непал. Но этого оказалось вполне достаточно, чтоб руководить писателями, чем он успешно и занимался лет десять, пока не погорел, как говорят, на взятках — что-то там с путевками в Дома творчества махлевал.

Вторым следователем у меня была тов. Перминова, в обкоме партии, куда мое дело было передано из райкома.

Немолодая, весьма убежденная коммунистка, сибирячка, считавшая, что на Украине все идет очень плохо, она от всей души уговаривала меня признать свои ошибки. «Ну, поймите, дорогой Виктор Платонович, перед вами машина, громадная, всемогущая. И вы с ней боретесь. Зачем? Ведь она вас раздавит... Признайтесь, прошу вас...»

Я так и не признался, что не помешало ей в день заседания бюро обкома, где решалась моя судьба, положить передо мной мое дело и сказать: «Вот, ознакомьтесь. Только последнюю страницу не читайте — там проект решения». Сказала и тут же отошла. Я зыркнул в запретную страницу и понял, что меня на этот раз помиловали — предлагалось вынести строгий выговор с предупреждением. Я оценил ее поступок, был тронут, а потом, от нее же, узнал, что на решение обкома повлияла хвалебная статья о моих очерках в органе итальянской компартии «Ринашита», одобренная, якобы, самим Тольятти.

Свела меня с Перминовой судьба и вторично, без малого через десять лет. По третьему и последнему моему персональному делу. За это время она уже повысилась в чинах, стала председателем Комиссии партийного контроля. Оба мы за эти годы не помолодели, но на позициях оставались прежних — она настаивала, я сопротивлялся.

Помню, на одном из синклитов, когда собрались все старые партийцы с орденами и колодками на груди, она вполне серьезно спросила меня, когда я в последний раз читал Ленина. Я ответил как-то уклончиво, к его творчеству меня никогда особенно не тянуло.

— Вот и видно, что давно не читали, — укоризненно сказала она. — И напрасно. Я, например, когда мне плохо, сразу же обращаюсь за помощью к Владимиру Ильичу, и сразу становится легче... Вот и вам советую, Виктор Платонович.

Совету я ее не последовал. Но легче мне стало — из рядов партии, наконец, меня исключили. Произошло это в 1973 году, через десять лет после первого дела.

В промежутке было у меня еще два следователя, оба райкомовские. Фамилии их я, увы, забыл. Один, маленький, с бельмом на левом глазу, в прошлом директор издательства, весьма дотошный и занудный, а другой, постарше, провоевавший всю войну, от первого до последнего дня и ведший со мной долгие, душевные беседы.

И сводились они в основном к тому, что коммунист я хороший, но упрямый, а это не гоже. Я же утверждал, что гоже и что я вовсе не упрямый, а принципиальный. Сейчас мне как-то неловко об этом вспоминать, но о разнице между упрямством и принципиальностью мы говорили тогда часами. Самое же забавное в этой ситуации, что после вынесенного мне очередного «строгача» (на бюро он больше хвалил, чем ругал меня), я был приглашен к нему на день рождения. И пошел. Из любопытства. И на этом, довольно многолюдном празднестве, малость подвыпивший сынок его вдруг бухнул: «Ты, папа, явно сдаешь. Когда-то на войне был председателем военного трибунала, не колеблясь к расстрелу приговаривал, а тут вдруг размяк, в адвоката превратился». Папа явно был смущен, о своей давнишней профессии в длинных наших беседах никогда не вспоминал.

Вот какие были у меня следователи. Особенно на них не жалуясь, только времени отнимало много это толчение воды в ступе — месяца по три-четыре каждое персональное дело.

Помню, как-то членам райкомовской Комиссии партийного контроля очень не хотелось расходиться по домам и они все мытарили меня вопросами о том, что же происходило на последнем митинге, или сборище, как они называли, в Бабьем Яру. Я устал, мне надоело, время приближалось к 12 ночи, и сказал:

— Не знаю как вы, товарищи, а я устал. Давайте кончать. И вообще мы с вами не на равном положении. Вы забываете о моей профессии. Вот возьму и напишу о сегодняшнем нашем вечере и о каждом из вас в отдельности. Так что не усердствуйте особенно...

Бухнул и умолк. А кто-то после паузы спросил:

— Интересно, где же вы собираетесь это напечатать?

— А это уже мое дело, — ответил я. Больше мне вопросов не задавали, разошлись по домам.

Где они сейчас, мои старички? Живы ли еще? Нет, зла я к ним не питаю, но, ей-Богу, не пора ли в этом возрасте и о душе подумать, о том, что где-то, когда-то, надо будет по-настоящему отчет давать? И очень скоро к тому же.

30.01.1985 г.

25 мая сего года в московской «Литгазете» и киевской «Литературной Украине» появятся статьи с такими примерно заголовками: «Неустанный борец за мир», «Лучший комедиограф страны», «Драматург с большой буквы». Посвящены они будут 80-летию А.Е. Корнейчука, одной из самых зловещих фигур, на фоне других, делавших политику в литературе. Да и не только в литературе.

Я его довольно хорошо знал. И сегодня, в день, когда ему должно было бы минуть 80 лет, хочу прочитать вам несколько отрывков из того, что когда-то писал о нем.

На улице Артема в Киеве, где жил когда-то мой друг Слава Глузман, замечательный человек, отсидевший уже положенный ему срок, стоит особняк. Не ахти какой — но по тем временам, когда он был построен, достаточно шикарный. Строился он для генерала Ватутина, но Ватутин погиб, и вселился в особняк Александр Евдокимович Корнейчук — первый комедиограф страны, член ЦК КПСС и КП Украины, Председатель Верховного Совета УССР, Председатель Союза писателей Украины, заместитель председателя Всемирного Совета Мира, в прошлом заместитель министра иностранных дел В.М. Молотова, лауреат Ленинской и многих других (пяти, не меньше) Сталинских премий и, конечно же, действительный член Академии наук...

— Слушай, Виктор, — сказал мне как-то он в период, когда я был еще его заместителем по Союзу писателей (а было и такое!). — Ты ж совсем не знаешь жизни, не знаешь народа. Его дум, чаяний, свершений. Замкнулся в четырех стенах, а народ тем временем творит жизнь, шагает от подвига к подвигу. Оторвись-ка от своих писаний (он несколько идеализировал в то время мое времяпрепровождение) и поедем-ка посмотрим, как живут, трудятся люди.

— Куда ж мы поедем? — поинтересовался я.

— К тем, у кого есть чему поучиться. К героям соцтруда. К Посмитному, к Елене Хобте...

Я живо представил себе картину нашего путешествия в длинном, с белыми занавесками ЗИСе, все эти застолья, тосты и от поездки уклонился, хотя с познавательной точки зрения, может быть, это было бы даже интересно.

Но это для затравки, о его любви к народу.

В 1949 году во время очистительной кампании по борьбе с космополитизмом мне пришлось как-то сидеть рядом с ним в президиуме — я все еще был одним из десяти его замов. Полукруглый, как в парламенте (когда-то здесь заседала Центральная Рада), зал музея Ленина гудел от негодования и гнева. «Ганьба!», «Позор!» несло со всех сторон, а несчастные, уличенные во всех грехах «космополиты» один за другим подымались на трибуну и, кто посмелее — пытались оправдаться, кто потрусливее, то есть пономальнее, признавали все, что надо — да, разлагали, да, растлевали и подкапывались, клеветали, играли на руку, лили воду на мельницу — и обещали прислушаться, исправиться, следовать, выполнять...

А другие, зарабатывая этим дополнительные тиражи, поднимались на ту же трибуну и, обуреваемые справедливым гневом, разоблачали лакеев, прислужников, низкопоклонников и вконец зарвавшихся пигмеев, как окрещен был мой друг Лёля Рабинович, художник, осмелившийся поднять в одной из своих статей руку на великого русского художника Валентина Серова, утверждая, что в некоторых его портретах сказалось влияние модерна.

Итак, зал ревел и клокотал. И вот тут-то, когда все члены президиума уже выступили, ко мне наклонился Корнейчук:

— Ну, что ж, слово даю тебе.

Я сказал, что выступать не буду.

— То есть, как так не будешь? — он даже удивился.

— Не буду выступать, — повторил я.

— Ладно, выйдем перекурим, — он встал. — Поголовуй тут замість мене, — сказал он то ли Дмитерко, то ли Малышко, и мы вышли.

— Ты понимаешь, что как коммунист, член президиума и «заступник голови» ты не можешь не выступить. Это будет оценено соответствующим образом.

Он испытующе посмотрел на меня. Я молча курил...

— Ты можешь мне объяснить, почему не собираешься выступать? — в голосе его появились какие-то новые нотки.

По-видимому, надо было ответить, что именно как коммунист я и не могу выступить, — я тогда еще за что-то цеплялся, во что-то верил, — но я просто, ничего не объясняя, повторил, что выступать не буду.

— Как знаешь, — он ткнул папиросу в пепельницу, — советую подумать. — И вышел.

С этого дня отношение ко мне в Союзе писателей резко изменилось.

Был у меня друг, лихой разведчик нашего полка Ванька Фищенко. По окончании войны он разыскал меня и решил взяться за ум — начал учиться. Все мои друзья приняли в нем участие, но были сложности с пропиской, и как-то раз мой Ванька, отнюдь не трезвенник, с кем-то напился и исчез. Через сколько-то там времени пришло от него письмо ни больше, ни меньше, как с Южного Сахалина. Оказывается, завербовался на шахту, а сейчас понял, что поступил несколько опрометчиво, просил о помощи — открылись раны и вообще плохо.

К кому обратиться, как не к всесильному, на дружеской ноге со всеми, в том числе и с Засядькой, министром угольной промышленности, Корнейчуку? Я и обратился. Принят был на высшем уровне, с вермутом, который я впервые в жизни тогда попробовал, икрой и прочими деликатесами.

Я сразу же, после первой же рюмки, изложил свою просьбу. Он внимательно выслушал, старательно прожевал кровавый ростбиф, потом сказал:

— Слушай, Виктор, я думал, что ты действительно о чем-то серьезном просишь, а тут... Ну, посуди сам, как я могу просить о том, чтоб кого-то освободили с работы, будь он трижды твоим другом, когда именно таким, как он, сталинградцам, и нужно показывать пример другим. Молодой, здоровый, все впереди.

— В том-то и дело, что не очень-то здоровый, — попытался объяснить я. — Дважды тяжело ранен, раны сейчас открылись...

— А кто в войну не был ранен? — прервал он меня. — Все были ранены. Кто больше, кто меньше. Нет, не буду я никому звонить. Шахтерская профессия — прекраснейшая, почетная профессия, пусть с шахтой, с жизнью знакомится.

— Да он чуть со смертью не познакомился, хорошо, врачи выходили. Теперь хочет учиться, семнадцати лет на фронт пошел.

— В Южно-Сахалинске, как везде, вечерние школы есть. Вот пускай и ходит туда.

Тут даже Ванда Василевская, его жена, заступилась за моего Ваньку.

— Сашко, тебе же ничего не стоит. Возьми да позвони Засядьке.

Нет, Сашко был человек принципиальный, государственное для него было важнее личного: «Ты уж прости, Виктор, но по такому поводу я звонить не могу. Просто неловко...»

Я дожевал свой ростбиф или семгу, поблагодарил и ушел, второй кусок уже не лез в глотку.

Освободил Ваньку вовсе не знакомый мне Борис Горбатов. Московские друзья посоветовали позвонить ему — он, мол, не только друг, но и собутыльник Засядько — и через два дня секретарь Горбатова сообщил мне, что приказ об увольнении Фищенко министром подписан. Недели через полторы явился и сам Ванька.

Вот таким был Сашко, человек всесильный, с отличным нюхом, знавший наперед, кто, что, где, когда и для чего, и отлично этим пользовавшийся. И в жизни, и в драматургии.

15.05.1985 г.

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ГАЛИЧА (к 9-летию со дня смерти)

Есть на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа черная лабрадорная плита, а над ней крест. Когда-то она была на самом краю кладбища, сейчас обросла другими могилами — сразу и не найдешь.

Под плитой этой покоится наш Александр Галич, по которому мы скучаем и грустим до сих пор. А сейчас под той же плитой прах и его жены Ангелины Галич, умершей совсем недавно. Смерть их опять соединила.

Трагическая смерть застигла Александра Аркадьевича, а для нас Сашу Галича, 15 декабря 1977 года. С тех пор прошло девять лет. И было бы ему только 58 лет — жить бы ему и жить, петь бы и петь...

Знал я Сашу Бог знает сколько лет — двадцатилетним юношей, красивым, обаятельным, уже тогда перебиравшим струны гитары. «В Бразилию, Бразилию, далекую Бразилию...» Туда он так и не добрался, а умер в Париже,

который полюбил, но... скучал по Москве, не мог без Москвы, не мог без России.

Он был актером, был драматургом, даже преуспевающим, и стал вдруг бардом. Тут слово «преуспевающий» не годится. Знаменитым, что ли? И это не то слово... Его пела вся страна. От Курил до Бреста, от дрейфующей на Северном полюсе станции до злосчастной границы Афганистана, если не в самом Афганистане.

Слава наших писателей, будь то сам Пушкин, не идет ни в какое сравнение со славой Высоцкого, Окуджавы, Галича. Их знает вся страна. Если не их самих, то их песни. Нет той шахты, рыболовного траулера, геологической партии, где не выпивают под их пластинки, под их кассеты. Вот это слава! Ей может позавидовать любой Жак Брель или Элвис Пресли...

В предисловии к небольшой книжке Галича «Когда я вернусь», где собраны все его песни, стихи — увы, до русского, советского читателя добраться ей почти невозможно — В.Буковский пишет: «Предшественникам наших бардов на заре человечества было легче — никто не сажал в тюрьму менеджеров, не тащили в сумасшедший дом Гомера, не обвиняли его в слепоте и односторонности. Для нас же Галич никак не меньше Гомера. Каждая его песня — это Одиссея, путешествие по лабиринтам души советского человека».

А я от своего имени скажу, может быть, и ересь — мне он ближе Гомера. Он свой, он рядом, он в самом тебе.

Мне вспоминается сейчас одна встреча в Париже. Было это года четыре, может, пять тому назад. Сидели в кафе на Монпарнасе трое русских. Двое только что приехавших из Москвы и возвращавшихся туда же, третий я. И выяснилось, что оба они в незапамятные времена, почти сразу же после XX съезда, в дни зарождения театра «Современник», присутствовали на одном и том же событии — на генеральной репетиции пьесы Галича «Матросская тишина». Один был на сцене, другой в зрительном зале. И как они об этом вспоминали... С какой горечью. Ведь пьеса эта, с которой театр собирался начать свою жизнь, могла стать событием. И не стала. Запретили. Зарезали...

В своей книжке, которая так и называется — «Генеральная репетиция», Саша Галич вспоминает о тех, казавшихся тогда такими светлыми, днях: «Так начался,—

пишет он, — год нашей дружной, веселой, увлекательной работы, которая в это зимнее утро, утро генеральной репетиции, закончилась таким неожиданным финалом».

— Мы, — сказала Галичу инструктор ЦК Соколова после просмотра пьесы, — мы вашу пьесу рекомендовать к постановке не можем. Мы ее не запрещаем, у нас даже и права такого нет — запретить! — но мы ее не рекомендуем. Рекомендовать ее — это было бы с нашей стороны грубой ошибкой, политической близорукостью.

Оказывается, не тот герой был избран Галичем. Не тот, потому что он был Додиком, евреем... Пьеса была о молодежи, о тех, кто воевал, кто выиграл войну... Не евреи же ее выиграли... А у вас, тов. Галич, вроде бы и они... Нельзя искажать правду!

На этом драматургическая карьера Галича закончилась. Как бы она сложилась и развивалась, увидь пьеса сцену — неизвестно. Может, лучше может, и хуже... Но мы ее так и не увидели. И все же дорогу к нашим сердцам никаким Соколовым и ее вдохновителям так и не удалось закрыть. Саша взял в руки гитару. И мы не жалеем...

О, эти вечера в московских квартирах, затаившееся дыхание, слезы на глазах... А потом Париж. В больших залах и опять же на квартирах. И опять же слезы...

Что и говорить, эмиграция нелегко далась Галичу. Ему нужна была своя аудитория, московская, ленинградская, новосибирская, которой понятно каждое слово, каждые «коньячку полкило», «Топтуны и холуи все по струночке»... Я был на первом его концерте в Париже. Народу было битком, успех, аплодисменты, но кое-кто из старых эмигрантов наклонялся и спрашивал: «А что такое «кум» или «опер»?» Нет, ему нужна была своя аудитория, свой зритель, свой слушатель. А это все осталось по ту сторону.

Увы, это удел всех нас, и пишущих, и поющих, и читающих. Нас разделяет Берлинская стена...

И все же книги остаются. И пластинки, записи тоже. Сашин голос до сих пор с нами. И его сердце, душа...

Лев Копелев вспоминает: «Корней Иванович Чуковский целый вечер слушал Галича, просил еще и еще, а потом, вопреки правилам строгого трезвенника, сам поднес певцу коньячку, а в заключение подарил свою книгу, написав: «Ты, Моцарт, — Бог, и сам того не знаешь!»

8.12.1986 г.